

## Мнаис

*Генриха Манна.*

Спуститься ли мне? Ты бы очень испугался, если бы я сделала это? Да, слушай, это я, кому ты молишься тайно, когда месяц, вот как сейчас, просвечивает сюда сквозь кусты. Ты думаешь, я не знаю о тебе, бедный мальчик, и ты называешь меня своею мертвою нимфой. Я не богиня, и я не мертва. Мнаис я, сикулиянка, с давних, страшно давних пор закованная в мрамор, но когда-то радовавшаяся своим сладостным членам, и солнцу, огибавшему их золотыми кольцами, и ручью, придававшему им свежесть и крепость, и тени, пестрившей их отпечатками маленьких листьев, когда протягивались они на земле. Пастушкой была я и в глубине долины среди папоротников сидела я, сдавливая вымя послушной овцы над глиняным кувшином. Вот настал вечер; уныло перекликнулись пастухи на вершинах гор; подняв кувшин с молоком над своими светлыми косами, погнала я стадо домой. Они теснились у моих ног; тела старых раскачивались пушисто; с блеянием подымали молодые свои светлые морды ко мне; я была среди них словно в трепете бесчисленных дождевых капель -- в теплом ласкающем запахе. Прохожим я предлагала напиться из своего кувшина. Один мне дал за это монету, другой -- кусок маисового пирога. Но один из пастухов, Крупас, пахнувший козлами, шкура которых болталась у него вокруг бедр, схватил меня за одежду. Я вырвалась, как уже не однажды, и перепрыгнула через дорожку. Почему, однако, в этот раз задрожала я от гнева? Над стадом своим, заградившим ему дорогу, протянула я к алчному руки и громко бранила его. Он засмеялся и, оскорбленная, я повернулась к нему спиной. На краю оливкового поля остановилась я, вспомнив, что кувшин мой, мой красивый, до-красна обожженный кувшин с летящей Победой, упал с моей головы и разбился. Наземь бросилась я тогда с горестным воплем и, подняв руки к небу, проклинала оскорбителя. Ах, не сразила его молния, как просила того я; наверное, он был подослан каким-нибудь завистливым божеством, ибо с гибелью кувшина началось гонение моего злого рока.

Между тихими маслинами взобралась я на земляные ступени, жалуясь добрым божествам деревьев, сколько я потеряла. И овцам своим поведала я с горестью это. Кувшин, привезенный отцом из Сиракуз! Мать побьет меня, она будет меня проклинать! Тогда из хижины своей под белым, неведомым деревом выступила Рхус, колдунья, и воскликнула:

-- Эй, достань себе новый у Тимандра!

С криком побежала я; ведь никто не приближается к ней без страха; ни один из юношей страны, хотя и красивая она женщина, не поступает к ней в услужение из боязни, что она его заколдует; да и чужеземный работник никогда не остается подолгу в ее доме. В какой-нибудь день он исчезнет, а вместо него у неё -- осел или козел, которого никто прежде не видел. Она закричала мне вслед:

-- К Тимандру пойдешь, к ваятелю, там наверху в вилле Фавста!

Почему я пошла? Велик был страх перед матерью. Я отправила стадо домой и у обрыва горы прошла мимо обелисков римлянина. Между высокими кипарисами стремилась по каменным ступеням вода, унося с собою нимф, преследуемых тритонами, обрызгивая зеленых фавнов, смеющихся в тени. "Где Тимандр!" -- крикнула я, и "Тимандр" ответило из-за тускло-блещущей кущи дриады. Я стала искать и заблудилась в длинных и темных кущах, где везде меня пугали и насмехались надо мною статуи садовых божеств. Наконец загорелся передо мною выход, да, он был окружен красным пламенем, и в диком ужасе повернула я вспять. Но так как конец ближайшей аллеи был тоже залит огнем, то, молясь в душе, побежала я к этому выходу и, добравшись до его конца, достигла лужайки, уплывающей в розовое небо. Повергнутые статуи и глиняные кувшины лежали здесь в траве, и -- о, боги! -- один из них был совершенно как мой! Возьмешь ли ты его, Мнаис? Возьмешь его и скроешься? Я оглянулась вокруг и открыла среди кустов невысокий домик и в темноте его двери -- юношу, смотревшего на меня. Мои руки опустились, нежные колени задрожали.

Он вышел на порог; Тимандр был это, и он сказал с улыбкой:

-- Возьми кувшин, раз ты его себе желаешь, и иди!

Я нагнулась за кувшином, но вместо того, чтобы уйти, я спросила:

-- Что ты делаешь? Ты Тимандр? И это твой дом?

Он опять улыбнулся; или это было розовое небо на его лице? Или, быть может, его улыбка была само небо? И он ответил:

-- Я ищу бога в этой глине.

Быстро наклонилась я над нею.

-- Вложи в нее свою руку, -- сказал он; и затем:

-- Теперь какая-нибудь богиня получит твою руку, и, быть может, знатные господа будут касаться ее своими губами.

И так как я все еще смотрела на него:

-- Это радует тебя? Что за глаза у тебя! Дикие и безумные от свободы, словно глаза лесной нимфы, забежавшей сюда. Наверное, ты одна из них? Такою робкою и любопытною стоишь ты передо мною! Скорей надо удержать мне твой образ, похитив с него теплый оттиск!

Он разглядывал при этом мою одежду, а я в ужасе заметила, что она сдвинулась во время бега.

-- О, оставь, -- сказал он и, сделав равнодушное движение рукою, обернулся и, посвистывая, вошел в хижину, чтобы принести доску и глину. Во время лепки он смотрел туда и сюда, но взгляд его был так одинок и строг при этом, как будто бы он вовсе меня не видел, как будто бы мое лицо, которое он ведь лепил, не было лицом Мнаис. Мне стало странно холодно.

-- Спусти свою одежду! -- сказал он сквозь зубы, а когда я в испуге медлила, он топнул ногой. Тогда, прежде чем обдумать, я сбросила с себя все. Я чувствовала, как кровь прилила к моим глазам, но не осмелилась поднять к ним руки, оставляя течь слезы. "Что он должен подумать!" Но он не видел этого вовсе.

Внезапно он глубоко вздохнул, его руки успокоились; с улыбкой отвел он кудри с своего лба.

-- Берегись, Мнаис, -- сказал он, -- чтобы не пал на тебя взгляд какого-нибудь бога, когда ты спишь или отдыхаешь после купанья.

И так как я удивилась:

-- Потому что нимфа, которая его любит, станет завидовать и отомстит тебе.

-- Такой красивой меня ты находишь? -- спросила я, и мне казалось, он должен увидеть, как бьется мое сердце. Но он рассматривал только что созданное им. Вдруг у меня остановилось дыхание.

-- Тебя самого, -- сказала я, -- посещают, конечно, богини? И я пытливо взглянула в его дом, на очаг и скамью. Он словно отбросил что-то плечом.

-- Я презираю их. Только Афина: ее, быть может, я видел уже на своем пороге. Но она была, успокойся, тяжело и жестко одетой, и даже прямые складки вокруг ее тела не колебались.

-- Так, значит, ты любишь смертную девушку? -- спросила я и засмеялась.

-- Я люблю лишь своего господина.

-- Что? Ты раб?

-- Ты думаешь, вероятно, я желал бы иного. Ваятель я, чтимый и хорошо вознаграждаемый. Что имеете вы, свободные? Все равно вы служите моему господину, который кормит и любит меня... А, вот и ты, Красс! -- воскликнул он, -- Друг! И он и юноша, вышедший из беседки, протянули друг другу руки.

Тот был смуглым, худым, с лавровым венком вокруг чела. Он показал на меня.

-- Она купила у меня, -- объяснил Тимандр, -- кувшин, оставив мне за него свое изображение. Затем оба они стали жадно обходить вокруг изваяния -- долгое время; а я стояла и тревожно думала, как бы мне уйти. Словно среди пожара бросилась я когда-то на эту лужайку; а теперь небо потухло, итак нежен был воздух.

-- Ты не хочешь пить, друг? -- сказал Тимандр. -- Работа возбудила во мне жажду. Возьми, Мнаис, свой кувшин, войди в дом и смешай нам вина.

Я принесла им напиток; у меня было чувство, как будто сурово побранила меня мать. Я робко остановилась.

-- Посмотри, -- сказал его друг, -- вокруг шеи у неё висит флейта, пастушеская флейта. Прикажи же ей сыграть нам песню.

-- Играй, -- сказал равнодушно Тимандр и растянулся.

Я играла, в то время, как они болтали и прохлаждались, пока в разгаре смеха не положили они друг другу руки на плечи; тогда, все еще играя, прокралась я в беседку и, едва скрывшись от их взоров, побежала, пылая от страха, через сад, из которого ушли боги, и прочь, вон отсюда, -- куда-нибудь, где можно было скрыться.

В расселине скалы переночевала я, потому что не хотела я показаться матери на глаза, а ранним утром спустилась я в Аргенский источник, прося его сделать меня красивой, красивее статуй, красивее друзей Тимандра. Засмеялся Аргенский источник, светло, как всегда он смеется. Своим

зеркалом он утешил меня. Когда же вернулась я в виллу Фавста, все приветливые боги стояли снова там. Утренняя заря проплывала в высоких кустарниках; тысячи щебечущих голосов трепетали в ней, и падала сладостная роса. Трава целовала мне ноги. "Я поцелую ему ноги -- подумала я, и разбуду его так от сна". Бот я отыскала лужайку, вот заглянула в дом. Как? Он был пустым. Робко вошла я в него, колебалась, провела пальцем по куску глины, закругленному его рукою, прислонилась щекой к его скамейке. Вдруг громкий зевот испугал меня. Тимандр возвращался через лужайку. Он шатался, казался поблекшим, и в растрепанных кудрях его осыпались розы.

-- Чего ты хочешь? -- спросил он отяжелевшим языком.

И когда я остановилась в испуге:

-- Больше нет кувшина. Ты его опять разбила? Но ты мне не нужна. Это здесь -- готово.

И он показал на изваяние.

-- Иди!

Он бросился на скамью. Уже я слышала его дыхание во сне, вернулась и склонилась над ним. Что за сладостная грудь! Как мягко положены руками Эраста эти тонкие тени здесь, под глазами, на щеках прекрасного юноши! Но его рот испугал меня: это был рот сытого животного. Влажным был он в углах, влажным от поцелуев. Я дотронулась до его кожи, и следы поцелуев выступили наружу--на лбу, на плече, везде. Я зарыдала, задрожала и увидела: увидела все свое несчастье.

"Ты, погибший, -- жаловалась я, -- если бы ты умер! Твою могилу они оставят, Мнаис. Ты же принадлежишь им!"

Опять побежала я, и в долине, где прежде паслись мои овцы, а теперь жгучее солнце было одиноким, ломала я руки. "Что стало с тобою, Мнаис? Ты погибла! Он сделал тебя больною и не хочет тебя исцелить. Без него же умрешь ты. Не долго еще тело твое будет благоухать и цвести. Твоя кожа поблекнет, исхудают твои члены, и бесплодной, ненавистной богам и людям, сойдешь ты туда. На горе родила тебя мать! И так как орел кружил за добычей: "О, возьми эту! Они не нужны!" -- воскликнула я, распростершись на камне и предлагая ему в воздушную вышину свои обе груди.

Пастухи увидели меня, спустились и, окружив меня, насмехались, предлагая свою любовь. Крупас был среди них самым дерзким. Нагой повыше своей шкуры и блея, нагнулся он ко мне и хотел стянуть с меня одежду. Но теперь не испугал меня его козлиный запах. Я взяла свою флейту к губам и, играя и не обращая на них внимания, пошла из долины. Я не знаю, что я играла: мне самой оно было незнакомым. И все же я уносилась куда-то играя, словно какой-то бог увлекал меня в своем плаще, меня, которая не была уже Мнаис; а дома, дороги и живые со-здания, все, что знала я до сих пор, маленькими лежали где-то внизу--и сердце, бывшее прежде моим, -- там же внизу...

Оглянувшись, я увидела себя в деревне, а вокруг меня собрались все соседи. И свою мать увидела я и удивлялась, что она не бранит меня, но улыбается, как будто я внушаю ей страх.

Вокруг слышались голоса:

-- Мнаис, видимо, встретилась с каким-нибудь богом. Оставьте ее одну.

Они отступили. Когда мимо прошел Крупас, я увидела, что его лоб весь в складках, словно внутренний занавес в храме, когда он волнуется.

Тогда, все еще играя, взобралась я на уступ, туда, где между двумя поющими пиниями, далек и светел небосклон, и где Пан смеется над морем.

-- Ты смеешься, Пан, -- сказала я, -- и земля и море смеются с тобою, и вы правы, ибо много хорошего дано в удел всякому созданию. Только Мнаис дурна и несчастна. Смейся над нею и возьми ее флейту! Я повесила ее на него, украсила его свежим венком и ушла.

Когда наступил вечер, белый дом Фавста стал сверкать над синими лесами. Все должна была я смотреть на него, и все дороги вели ему навстречу. Вот я различала колонны, а вот уже и гирлянды роз. Когда же я подошла к садовой калитке, последняя из высоких мраморных лестниц исчезла в листве. Напрасно пыталась я увидеть ее снова на краю каждой из кущ, с высоты колодцев, с вершин деревьев, на которые я взбиралась. И он исчез, лежит в объятиях друзей и не помнит более о Мнаис. В лесной чаще заснула я--хотя из темноты сверкали на меня чьи-то глаза; проснулась с ужасом и прислушалась: но только крысы свистели среди мокрых камней. Он не пришел! Он не пришел ночью и утром, и до самого вечера. "Они похитили его у меня навсегда!" Но в темноте я нашла его распростертым близ каменной скамьи; лисицы обнюхивали его; я опустилась на колени, положила его голову к себе на грудь и, отгоняя летучих мышей, стерегла его сон.

Так поступала я и дальше: только в сумерки приходила я; только к спящему, только к бредущему пьяным домой приближалась я. Однажды я увидела, как он стоял, выглядывая из-за ладоней рук, а вокруг него, на голубой от месяца лужайке было кольцо танцующих нимф, жесткие, слабые, птичьи голоса которых дразнили и манили его. Мое сердце упало. Но неистовый гнев вновь поднял его, и я бросилась вперед. Тогда с криком убежали нагие, и Тимандр упал без сознания на эту грудь.

Затем однажды вечером, ничего не зная, вхожу я на лужайку перед его домом. Там стоит он со многими друзьями; все молчат, а вверху, на подмостках, светлая и прекрасная, я сама: да, действительно образ Мнаис, наполовину выступивший из мрамора. Восклицанием выдала я себя, и, испуганную, повлекли они меня за собою.

-- Хочешь кувшин? -- спросил меня Тимандр. -- Ты принесла мне счастье. Друзья хвалят твоё изображение и требуют его от меня в камне. Я повинуюсь. Повинуйся же и ты и сними свое платье.

-- Перед всеми нами? -- спросил Красс. -- Видно, Тимандр, что женщины не могут угодить тебе ничем, кроме своих очертаний. Все, что могут они еще дарить сверх того, предоставляешь ты всякому.

Я же, вполне сознавая позор свой, в исступлении, от которого кружилась голова, сбросила холст со своих членов. Так стояла я, отдавая себя всем. "Так я останусь стоять, -- думала я, -- более никогда не тронусь. Мнаис живет теперь только в руке Тимандра, который оттачивает ее спину, обнимая при этом ее грудь". Да, я чувствовала в своем теле давление, теплоту, удар его руки, обрабатывающей мрамор. Еще часто затем совершалось это со мною, и каждый раз после того у меня болели от его молотка все члены, и я была счастлива беспощадным, изнуряющим счастьем, об исцелении от которого я плакала, дни и ночи плакала напролет, слезами, на которые он не обращал внимания.

Другая заметила их: Рхус, колдунья. Она подозвала меня, когда я проходила мимо. Я хотела убежать, но я услышала:

"Ты любишь Тимандра!"

И тогда я должна была остановиться.

-- Я знала это, -- сказала Рхус. -- Когда я отправила тебя к нему, мне было известно, какую судьбу тебе определили боги. Хочешь ли ты, чтобы он любил тебя?

Я обернулась к ней, но из-за выступивших слез я не могла ее увидеть.

-- Пойди и принеси мне суягную овцу.

Я принесла ее поспешно. Когда я вернулась, земляные ступени с маслинами лежали в вечерних тенях. Калитка в садике Рхус была из одной лишь доски, стонавшей словно в зловещем сне; словно белые мертвые глаза, неясно глядели из-за неё ягоды неведомого дерева, -- да, словно глаза удушенного. Дом, высокий и узкий, имел задней стеною скалу, был сер, как она, и каменисто-серо обнимало его зловещее дерево. В этой скале и дереве был запятан дом; из окна его выглядывал куст, растущий в дверь; и я ясно заметила, что из-за бледной, вялой листвы его наклонялось лицо, старое лицо каменисто-серой дриады.

-- Рхус! -- позвала я в страхе, но она не вышла.

-- Рхус! -- тогда сверху, из куста раздался ее голос:

-- Подыми свою руку!

Я сделала это; страшно стало моей руке, ибо клейкими и холодными были белые плоды, клейкими и гибкими, как змеи, были листья, и над затылком моим в листве обхватила моя рука какой-то сосуд.

-- Не пролей! -- сказал голос Рхус.

Осторожно спустила я сосуд: он был полон до краев, блестел темно и остро пахнул.

-- Дай ему выпить это, -- сказал голос Рхус. -- Он умрет, но перед тем он будет тебя любить... Не дрожи! Ибо то, что прольешь ты -- любовь, которой ты никогда не вкусишь... Его смерть внушает тебе страх? Ты бы охотнее сама умерла? Так умри! И в награду за это он будет тебя любить, всю жизнь одну лишь тебя, хотя бы уже давно окаменели жилы Мнаис, и в милых глазах ее не было света.

-- Что должно совершиться? -- спросила я, и дрожь меня охватила. -- Неужели, действительно, должна испытать я смерть?

Голос Рхус отвечал:

-- Молчи и повинуйся. Если же нет, то разлей, пожалуй, напиток. Земля выпьет его, и любовь Тимандра будет погребена.

-- Что должна я сделать, Рхус.

-- Сойди в дом, прислони голову к корням дерева и затем пей!

Тогда я двинулась вперед и пошла шаг за шагом к дому.

Обе руки мои обхватывали чашу и глаза были прикованы к ней, чтобы не пролилось ни капли; уши же мои внезапно наполнились множеством голосов: и зверей, и бледных женщин, выступивших из-за маслин.

"Мнаис, -- сказала ночная птица, задев мою щеку, и ветка, дотрагиваясь до моего плеча, -- Мнаис, вылей напиток и сохрани сладостную жизнь!"

А у ног моих слышался шепот:

"Я лишь маленькая травка, и нога твоя может меня убить, но если прошла она мимо, то все еще живет во мне дух Пана, и я счастливее тогда, чем Мнаис, которая умерла и любима Тимандром".

Но я закрыла уши и, покидая пурпурное небо и теплую землю, спустилась с порога в дом, ступеньку за ступенькой, в свою могилу; на концах своих поднятых рук осторожно, чтобы не поскользнуться, и заботливо, чтобы ни одна капля не упала на землю, несла я перед собой свою смерть. Корни неведомого дерева были скользки, как лед; и когда, прислонившись спиной, пригнула я к ним свою шею, они замкнулись вокруг неё как клещи. Я испугалась, я боялась, что руки мои задрожат, -- и выпила; выпила и умерла.

И я проснулась и у ног своих увидела Тимандра. Месяц струился по его поднятому ко мне лицу. Он также струился по кустарникам и лужайкам и от порога его дома -- беззвучно и бледно. Тимандр думал беззвучно:

"Только тебя я люблю в этом мире! Что мне друзья! Я хотел бы быть свободным, чтобы скрыться с тобою".

И своими мыслями я ответила ему:

"Я люблю тебя, Тимандр!"

Он опять стал думать, и я его понимала:

"Мнаис исчезла. Никто не видел ее. Говорят, какой-нибудь бог ее похитил. Я знаю этого бога: он направляет мой резец, ее сладостная душа теперь в моем создании: поэтому не может она более быть между людьми".

Тут я заметила, что его руки обнимают мои колени и что я совсем не чувствую этого; видела его рот приближающимся ко мне, и не ощутила его давления; и узнала, что я -- из камня. Во мне возник поток слез, из которых ни одна не могла выйти наружу, и среди слез ему ответили мои мысли:

"Это было хорошо, Тимандр, что я умерла за тебя".

Спуститься ли мне? К тебе, мальчик, который каждую ночь, не взирая на сторожей, не взирая на железные иглы, перебирается через загородку сада, чтобы молиться мне втайне, когда месяц, вот как сейчас, просвечивает сюда сквозь кусты? Ты любишь меня, и меня любил Тимандр. Правда, напрасно вздыхала Мнаис, пока еще могла она радоваться своим сладостным членам, -- о сердце Тимандра; но с тех пор, как заключена она в выветривающийся камень, -- досталось ей это сердце, и других мужчин, и твое. Хочешь ты услышать об этом? Ты, чье истомленное в лунном свете

лицо походит немного на лицо Тимандра? Быть может, родственны ваши души. Я расскажу тебе и, если помучу тебя немного, мне будет казаться, как будто я мучу Тимандра.

Не было любовника вернее у смертной. Он бодрствовал у моих ног и, укладывая меня в траву, спал на моей груди. Не утомляла его холодность моих жестких членов; нет, в глубине их неподвижности угадывал и чувствовал он трепет окрыленной души Мнаис; и все же когда-то она была для него ничем иным, как лишь с робким любопытством выступившей перед ним незнакомкой, ценной только тою глиной, в которую она вложила свою руку. Понимаешь ли ты это? Я нет. Близкой к жалости была радость, вызванная во мне падением гордого; но с тем большим счастьем любила я его, имея возможность немного над ним смеяться, немного его презирать.

-- Ты умерла за меня? -- спрашивал он, вглядываясь в мои потухшие глаза.--Скажи мне это, моя мертвая нимфа!

Но я заглушала свое сердце, чтобы не думало оно:

"Это хорошо, Тимандр, что я умерла за тебя".

Его друзья пришли, его господа, и хотели увести его. Однажды Красс застал его скрывающим лицо свое у сердца Мнаис, подошел неслышно по траве и ударил его. Тимандр обернулся.

-- При ней! -- закричал он резко и стал его бить.

Она не видит, и Красс насмеялся над ним за его любовь к бесчувственному камню. Затем он обнял моего возлюбленного и стал его просить. Тимандр сел на мой цоколь и закрыл глаза. Красс рассердился, ушел, грозя ему Фавстом, его господином. Пришел тот: жирный старик, поддерживаемый двумя рабами; он громко дышал и от него дурно пахло. Он сказал, моргнув Крассу, что я ему нравлюсь, и он приказывает внести меня наверх, в свой дом. Напрасно Тимандр бросался к его ногам.

-- Я отпущу тебя на волю, -- сказал Фавст. -- Но работа твоя принадлежит мне.

Когда он ушел, Тимандр спросил меня:

-- Разбить ли мне тебя?

-- Сделай это, милый, -- сказала я. -- Но он?

-- Фавст прикажет тогда наказать меня розгами.

И он оставил это. Вы, нежные, вы видимо неохотно переносите боль? Ах, вот что! Вы желаете, чтобы для вас умирали, во второй раз умирали, но удары розог, которых вам это может стоить, приводят вас в смущение!

И вот я стояла теперь на вершине белых лестниц, с той стороны, где оmyвает их неумолчное море, стояла, обвитая колеблющимися гирляндами роз, окруженная клубами фимиама и охваченная запахом вина, пряностей и умащенных тел мальчиков. Флейтистка Аглая, которую я знала при жизни и бранила за ее продажность, прислонялась ко мне, к этому девственному телу, позволяя пьяным целовать себя. Только бледным утром, когда все вокруг хрипели во сне, мог Тимандр, вольноотпущенник, боявшийся воли, пробираться через нее к моим коленям. Одна из женщин опрокинула его, у которого опускались веки, -- и над тлетворным дыханием



каждой умирающей оргии высоко и одиноко подымалась Мнаис, и ветряное утро мерцало на ее белых бедрах.

Все еще видела я члены свои чистыми и блестящими, а они увядали, исчезали, сменялись. Тимандр не был таким, как они, и не таким, как я. Старым был он и молодым одновременно. В его светлых волосах висели седые пряди, а его усталое лицо казалось лицом мальчика, который бодрствовал слишком долго. Он еще мог шалить, лепетать, выдумывать забавные шутки; и чужие, новые презирали его за это. Только Мнаис понимала его. Однажды пришел кто-то властный, кому предшествовали вооруженные, и Тимандр в волнении бросился к нему.

-- Красс, это ты? -- бездыханный от счастья.

-- И ты еще здесь? -- сказал холодно могучий. На нем не было больше лаврового венка, но в его обветренных морщинах, даже в движении его пальца была слава. Тимандр опустил руки.

-- Ты стал важным, Красс, -- сказал он с робкой насмешкой. -- Но не моложе. Неужели мы в самом деле стареем? А вот эта здесь, -- и он показал на меня, -- остается все той же!

-- Все еще тот же чудака, -- ответил Красс, -- притворщик!

А Тимандр:

-- Разве не притворяетесь и не играете вы? Я никогда не мог понять, как вы можете смотреть на себя серьезно! Помнишь ли ты еще, как однажды я говорил вам речь, как трибун, когда вы распяли невинного раба? Вы хотели на меня рассердиться. Я надеюсь, ты не сердишься на меня более. Разве не все -- только глина, в которой, играя, отыскиваем мы богов?

Красс взглянул на меня. Потом он кивнул Тимандру:

-- Одно удавалось тебе. Занимайся своим делом и будь счастлив!

Он говорил с ним милостиво и нетерпеливо, как с женщиной, которую более не желаешь; и он отвернулся.

Я же, видя, что стар и покинут Тимандр, подумала в душе своей о своих утраченных теплых и сладостных членах, которые солнце обрамляло золотом, ручей делал крепкими и свежими, а тень пестрила отпечатками маленьких листьев; и вновь содрогнулась от ужаса, потому что уже так давно истлели они в доме Рхус, и скоро теперь и Тимандр должен обратиться в пыль. "Бедный! -- подумала я. -- Лучше пребывать закованной в камень, чем, имея тело, быть принужденным расстаться с сладостною жизнью"!

Вдруг Тимандр отнял от подбородка руку, положил ее в грудные складки одежды и подошел ко мне.

-- Все же, -- выпрямясь, сказал он, -- это я, кто создал тебя!

Станным образом умер он и прекраснее, чем другие. Когда напали на нас варвары и в безнадежной жадности с остатками последнего пира в горле падали от мечей, как бывало от кубков, -- другие, и вместо сладострастия дымилась вокруг меня кровь, тогда с распростертыми руками прислонился Тимандр к Мнаис, которой угрожал варвар, и дал пронзить себя, и обагрил своею кровью Мнаис. Ты вернулся, Тимандр?

Стоишь перед моими кустами, сквозь которые светит месяц? Давно я тебя ожидаю. Тимандр, я люблю тебя, и это было хорошо, что я умерла за тебя.

Нерадостны были дни мои с тех пор, как не стало тебя. Меня повезли через море, и с тех пор я грустила в какой-то долине между остатками богатств своего господина, пядь за пядью погружаясь в песок и траву, наблюдая, как обветривается мой живот, и жесткими и зелеными становятся бедра. Какой-то человек в коричневой тоге, подпоясанный веревкой, извлек меня оттуда; он созвал много себе подобных, и все они с жадной ненавистью рассматривали меня, поносили меня и побивали камнями. Затем, посоветовавшись между собою, они доволокли меня в какой-то город, в толпу народа, повесили меня там на цепях и по пергаментам прочли мне мой приговор. Волшебницей Дианой называли они меня. Изможденный юноша, извлекший меня, был самым бешеным, самым безобразным в своей ярости. Он сломал мне руку. Ночью же, в одинокой яме, куда они меня бросили, он принес мне назад мою руку, целовал меня и лег, стуча зубами, ко мне.

Но тот народ утверждал, что я его несчастье, и отнес меня поэтому в пределы своих соседей, зарыв меня там.

Долго ли оставались зарытыми мои сладостные глаза? Когда опять с них спала земля, я увидела очень пестрых и шумных людей, господин которых в золотом панцире с кричащей Медузой на груди -- обнимал меня и шумно кричал, что он повенчается со мною. Там, где мы проходили, были выстроены алтари, народ стоял на коленях, и медные звуки неслись в воздухе. В зале, во время пира, где пахло целыми свиными тушами, стоявшими там позолоченными, вспомнила я белые колонны Фавста, между которыми подымались ко мне когда-то кольца фимиама, и сдержанного Красса, и миловидного Тимандра, -- и презрение оттолкнуло меня от этих, которые хотели меня любить.

Они умерли, и другие повезли нимфу, Диану, лесную деву, или Афродиту, в свои галереи, в свои сады, измеряли ее через стекла, срисовывали ее, продавали ее и восхищались ею; и все же это была только Мнаис, пастушка, робко и скромно склонившаяся над рукою Тимандра, юноши, которого она будет любить.

Спуститься ли мне? Ты бы очень испугался, если бы я сделала это? Ах, уплывает месяц; он уже оmyвает теперь только край круглой скамейки из камня, только край моей ниши и кустарника, начинающего шелестеть от утреннего воздуха. Зевая, подошел бы сторож, застиг бы нас и поймал тебя, мальчик. Беги поэтому, пока еще не настал день, чтобы к ночи ты мог снова вернуться. Мнаис ожидает тебя. О, она не боится, что ты не придешь. Ты из тех же, каким был и Тимандр, и девушка, еще радующаяся теплоте своих членов, не отнимет тебя у меня. Мертвой нимфе своей принадлежишь ты. Но пусть коснется любящее дыхание твое моих холодных членов. Или ты уже не слышишь меня? Уже умирает, едва пробуждаются птицы, мой голос? Ты теперь уже, быть может, сомневаешься, что это была я, которая так долго с тобой говорила? Но это была я, Мнаис, сицилийская пастушка, любившая Тимандра, любимая им, и которая была многими любима.

Слышишь ли ты? Флейтистка Аглая смеялась однажды, когда, еще невзрослыми, пасли мы овец наших отцов, над моими слишком узкими членами, над моею длинною шеей. Давно она среди теней; Мнаис же любишь ты, мальчик. Спуститься ли мне? Нет, беги, будь счастлива, направляй осторожно шаги свои по песку. И если ты будешь спешить мимо покатой лужайки, с которой подымает свои крылья в порозовевшее небо Пегас, то остерегайся подходить к нему слишком близко, чтобы не схватил он тебя и не унес с собою. Ибо это тот час, в который он вылетает.

Перевел *Виктор Гофман*.

---

*Источник текста: журнал "Русская мысль", No 7, 1908, стр. 118--131.*